

М и х а и л Б а р у

ПРОЛЕТАЯ МИМО ПЕРСЕИД

* * *

К концу первой декады октября становится ясно, что в этом году, как и в прошлом, улететь в теплые края не получится и зимовать придется здесь. Перестаешь задирать голову вверх, смотреть на уплывающие к югу облака, на уток, летящих по натянутой в небе бесконечной невидимой ниточке и на головокружащиеся перед глазами желтые листья. Надеваешь теплый овчинный жилет, топишь печку, садишься перед окном, начинаешь считать сонных мух между рамами и думать — не впасть ли в спячку до весны. С одной стороны, конечно, новый год, елка, оливье, ирония судьбы и холодец, а с другой стороны, если холодец продержится до середины апреля, то дров может и не хватить. Еще неделя и Покров. Желто-красный, осенний купол церкви Ильи Пророка к празднику первого снега переокрасят в белый цвет, нарисуют на нем вместо вихрей кленовых и березовых листьев морозные узоры, сверкающие деревья, холмы в снежных шапках и зимнюю радугу. Вокруг храма будут водить хоровод дети, наряженные в костюмы снежных херувимов и зайчиков. Старенький батюшка в белых ризах с длинной, покрытой инеем бородой отслужит молебен. По обычаю, ему после службы на белом подносе поднесут белый хлеб, кусок балыка из белорыбицы, белые соленые грибки и рюмку беленькой. Батюшка выпьет, закусит белорыбицей, грибом и скажет голосом жены:

— Я смотрю, ты уже спишь без задних ног. Не вздумай мне тут оуклиться до апреля! Кто будет на лыжах со мной кататься? Нака, вот, попробуй белых. Мне кажется, что я переложила в них хрена при засолке. Или гвоздики...

— А...

— Сначала попробуй — потом налью.

Дни поздней осени бранят обыкновенно утром, во время завтрака, за чаем с творогом и медом или даже чуть раньше, когда жена только начинает поливать медом творог, надо успеть посмотреть сквозь янтарную золотую струю в окно, на золотые голые прутья малины в саду, на золотую яблоню с одиноким золотым червивым яблоком на самой верхушке и на золотое небо между ветками. Потом, уже над второй чашкой чая с шарлоткой, не переставая глядеть в окно, подумать о том, как убрать мух, которые черт знает каким образом ухитрились пролезть между рамами, уже законопаченными и заклеенными на зиму. Не отконопачивать же обратно и не раскрывать раму, как советует любящая скоропалительные и необдуманые решения жена. Вопрос этот сложный, требующий непростого технического решения. Тут торопливость не нужна, и завтра... Ну хорошо, хорошо. Пусть сегодня. Пусть даже сразу после завтрака взять и просунуть в открытую форточку внутренней рамы трубу от пылесоса и ею высосать всех насекомых. Одна беда — шланг короток. Жене придется держать пылесос на уровне форточки, а направлять трубу и считать засасываемых мух... И не забыть, кстати, занести количество мух в журнал наблюдений, сравнить его с прошлогодними и сделать выводы. Жена говорит, что нет ничего проще, чем сделать выводы. Видал я ее выводы. Были бы у этих выводов кулаки — они постоянно дрались бы между собой.

После мух отдыхать некогда — надо надевать теплый халат, шерстяные носки и идти сидеть в кресле у окна над раскрытой книгой, поскольку уже два выходных пропущены и дальше откладывать нет никакой возможности. Поздней осенью хорошо сидеть над толстым романом. Лучше всего для этих целей подойдет «Обломов» или «Обрыв» того же автора. Можно, конечно, сидеть и над «Анной Карениной» и даже над «Братьями Карамазовыми», но «Анну» и, тем более, «Братьев» лучше не читать, а просто держать раскрытыми на коленях и смотреть в окно, как соседская собака облаивает застрявшую в непролазной рыжей грязи белую легковую машину, увозящую на зимовку в город последних дачников.

Как собака устанет и охрипнет, а дачники смогут вылезти из грязи и уехать — надо немедленно начинать барабанить пальцами

по ручке кресла или по стеклу в ожидании обеда, после которого сидеть над книгой уже нет никакой возможности — только лежать рядом. Лежать долго некогда — из кухни пахнет жареными семечками, которые надо грызть и не просто грызть, а при этом еще и играть в подкидного, пить чай с кизилковым вареньем и разговорами о том, что в этом году не то, что в прошлом, не говоря о позапрошлом.

После карт хорошо бы как-нибудь развеяться. Пойти, к примеру, в кладовку, найти мешок с сушеными белыми грибами и нюхать их. Можно самих по себе, а можно вместе с рябиновой настойкой, которая стоит... да мало ли она где может стоять. Там теперь уж и нет ее почти. Ну, а как нанюхаешься, так уже и вечер на дворе. На ужин глядя, серьезных дел лучше не затевать, но и бездельничать тоже ни к чему. Надо сесть в кресло, сосредоточиться, откашляться и дать себе обещание, что завтра обязательно. Или уж с понедельника, но кровь из носа. После этого заснуть, проснуться к полуночи, поужинать холодными котлетами, винегретом, солеными помидорами, остатками мясного пирога, рябиновки, утренней шарлотки и потом сидеть еще часа полтора в кресле, в полной темноте над «Обрывом» не в силах не то, что уснуть, но даже и вздохнуть поглубже.

* * *

Между прочим, никакие ученые, включая даже британских, так и не смогли понять — почему на муравьев, бегающих вверх и вниз по стволу сосны, ловко оббегающих капли стекающей золотистой смолы, подставленные соломинки, пальцы и сухие прутики, можно смотреть целую вечность и потом без перерыва еще одну.

* * *

Не клюет, холодно, руки заледенели. Не клюет, хоть тресни, дождь моросит, холодно, перед тобой какой-то мужик поймал одну щуку на полкило, другую щуку на килограмм — и укатил,

радостный, в Москву. Не клюет, хоть лопни. Еще один поймал трех окуньков, здорового караса с красной икрой и не уходит. Не клюет, хоть пополам разорвись, холодно и дождь идет со снегом. Пьешь чуть теплый чай из термоса и думаешь о том, что хорошо бы завелась в этом озере акула, сожрала бы всех щук, карасей, мужика с икрой, лодкой, веслами, тремя его удочками и все равно бы осталась голодная, а ты бы сидел на высоком берегу, пил свой чай с коньяком, откусывал бы на глазах у этой акулы от преогромного бутерброда с копченой грудинкой и говорил ей:

— Ну, что, съела?! Дура ты, дура. Образина ты морская. А нечего было в озере заводиться. Вот как льдом все затянет — и на сушеного мотыля кидаться станешь с голодухи-то.

* * *

Осеннее утро... Ветер, листья, ветер, застывший пруд, лай собак, истошное кукареканье проспавшего петуха, синий дым из труб, желтый дым от вороха горящих листьев в саду, красное яблоко, чернеющее в побелевшей от инея траве, листья, ветер, иней, лай собак, листья, ветер, листья. Осенний вечер...

* * *

С возрастом начинаешь чаще оглядываться. Отпиливаешь по весне сухую, покрытую серо-зелеными лишайниками, нижнюю ветку у яблони и думаешь не о том, какие вырастут через три месяца на здоровых ветках яблоки, а вспоминаешь, как много их было позапрошлой осенью, как треснула от их тяжести ветка, которую ты сейчас отпиливаешь, как до ноября висело на самом верху красное яблоко и как клевали его птицы... Или станешь смотреть на большую старую собаку, которая целыми днями лежит и спит в тени забора, и вспоминать про те времена, когда она была резвым щенком, легко перемахивала через этот забор и шла гулять по деревне, пугая своим неумным дружелюбием кошек, гусей с курами, соседа и даже соседский мотоцикл с коляской. Или, глядя на детей, вспоминаешь о том, как они катались

на трехколесном велосипеде по двору, а не на джипе черт знает где. В таких случаях литературные и театральные критики, любящие употреблять непонятные технические термины, говорят о «другой оптике». Ну, да. Другая оптика. Она во всем, даже в мелочах. Взять, к примеру, джинсы. Смотришь на них и думаешь:

— Ну почему, почему еще год назад они легко застегивались, а теперь не хотят?!

* * *

Сидишь у окна, литература не кончается, до каникул всего две недели, солнечные зайчики набиваются в нос и там свербят, как сумасшедшие, ухо у нее прозрачное от солнца и видно, как в нем извивается и сворачивается в маленький тугой клубок бесконечное слово амфибрахий, чтобы пролезть — и все равно не пролезает. И на правом виске есть две медовых веснушки. Их сколько не слизывай, а они все равно сладкие. И мокрые волосы после дождя начинают завиваться сами по себе. Завтра был дождь, и мы бегали под ним, и я простудился, и стал кашлять, и проснулся, и стал смотреть в темноту, в то место, где висят на стене часы, и думать, который может быть час, и куда делись сорок с лишним лет, которые пролетели. Они точно были, но куда делись... И я перевернулся на живот, и стал их искать руками под подушкой, и при этом думать о том, что если пенсионный возраст увеличат на пять лет, то это будет форменное свинство с их стороны, хотя с их стороны ничего, кроме форменного свинства, никогда и не было.

* * *

Сидишь на берегу, на разохшейся скамейке, смотришь, прищурясь, на нестерпимо сверкающее море, на зелень лавра, доходящую до дрожи, на двух чаек, нападающих на третью, чтобы отобрать у нее где-то украденный кусок хлеба, на черную тушу танкера, застывшего на рейде, на лодку с обвисшим парусом, на облако, из последних сил старающееся отклеиться от неба, что-

бы уплыть куда-нибудь подальше от палящего солнца, на ткань собственной футболки, впитавшую липкий арбузный сок, а думаешь ночь, ледяную рябь канала, аптеку, улицу, фонарь.

* * *

В такие смутные времена, как наши, хорошо быть теоретиком — математиком или физиком. Сидишь себе целый день за письменным столом, не раздвигая пыльных штор на окне, и высчитываешь, умножаешь синус на косинус, возводишь в степень и вычисляешь вторую производную. И так до обеда без перерыва. Съешь на обед сосиску с черным хлебом, выпьешь крепкого чаю с ириской и снова умножить косинус на синус, а то и тангенс на котангенс. К вечеру можно полюбоваться стройным выводом формулы, к примеру, степени черноты черной дыры или частоты пульсаций пульсаров, найти ошибку, сделанную при интегрировании, все зачеркнуть, разорвать на мелкие куски, выбросить в мусорное ведро и два часа играть на скрипке, чтобы обрести душевное равновесие. Потом выглянуть в окно, увидеть толпу людей с плакатами, ОМОН с дубинками, раздавленные и обгорелые импортные продукты, казаков, оскорбленных верующих, депутатов, патриотов, встающих с колен, либералов, не желающих становиться на колени, с которых встают патриоты... почесать в затылке и пойти доставать из мусорного ведра обрывки формулы черной дыры, чтобы ее вывести заново и потом по этой черной дыре, как учит нас Стивен Хокинг, уйти к чертовой матери в перпендикулярную вселенную. И не забыть взять с собой оставшуюся сосиску с черным хлебом, поскольку кормить в пути никто не обещал.

* * *

Сегодня ночью пролетим мимо Персеид. Или они мимо нас. Желаний загадаем... Никаких Персеид не хватит. Это те, кто увидят. Шахтеры не увидят, водолазы, врачи скорой помощи, сталевары, пенсионеры, принявшие снотворное, и вахтеры (эти проспят и Персеиды, и Леониды, и взрыв сверхновой у себя под

носом). Маленькие дети уснут, не дождавшись. Жаль, что у нас нет какой-нибудь космической религии. Мы бы писали записки, как христиане пишут записки о здравии или об упокоении. Приносили бы их заранее в храм, и в ночь на Персеиды звездочет, облаченный в плащ темно-синего бархата, расшитый красными гигантами, белыми карликами, кольцами Сатурна, квазарами, пульсарами, галактиками и даже черными дырами, поднимался бы по лестнице на самый головокружительный верх вавилонской башни и кричал бы, кричал изо всех сил наши желания падающим звездам. Сначала, конечно, детские, потому, что у них желания самые горячие и не терпящие отлагательств, а потом... ничего этого не будет. Мы и Персеид-то никаких не увидим за яркими фонарями, сверкающей рекламой кабаков, супермаркетов и светом из окон и автомобильных фар. Проснемся среди ночи, высунемся в окно, похлопаем глазами в разноцветную темноту, зевнем и опять завалимся спать, но не уснем, а будем ворочаться, курить на кухне, вспоминать, вспоминать... и не вспомним, а утром пойдем с больной головой на работу, волоча за собой небывшиеся желания.

* * *

Сочинять стихи легко — налил себе крепкого чаю, сел в кресло у окна и сочиняй. Стихи за окном везде — у синичек, клюющих сало, у собаки, которая перерыла всю землю возле будки в поисках крота, у крота, которого давно разорвало бы от смеха, если бы не узкий подземный ход, у пруда, во льду которого ночью застыли сплюснутые до блинчиков пузырьки воздуха, у соседа, который кроет последними словами свой не желающий трогаться с места автомобиль, и бьет ногой по его колесу, и хлопает дверь не для того, чтобы его отремонтировать, а от злости. С прозой все сложнее. Надо оторваться от окна, сесть за письменный стол и писать. Не пить чай, не смотреть в окно на синичек, собаку и соседа, а писать, мучительно перебирая синонимы, эпитеты, меняя двоеточия на тире, а запятые на точки. Напишешь пять, а, тем более, восемь предложений, и уже жалко бросить. И уже, как бурлак на Волге, волочишь из последних сил слева направо

какое-нибудь сложносочиненное предложение с кучей разбегающихся в разные стороны придаточных. Другое дело стихи — они могут не получиться по тысяче причин. Или настроение не то, или чай остыл, или жена говорит, что на сегодня чаю уже хватит, или вовсе он кончился и надо срочно бежать за ним в магазин, пока не прекратили им торговать, или вдохновение склевало все сало и улетело. Стихи никогда не нужно дописывать — их лучше всего каждый раз писать заново. Тем более что все для этого под рукой — и окно, и кресло, и чай. Главное, чтобы он был крепким и синички сало не склевали раньше времени.

* * *

Вселенной может стать и обычное поле между деревней и лесом. Когда лес уже давно скрылся из виду, а деревня еще и не думает показываться; когда остервенелый ветер норовит залезть не только под куртку или шапку, но даже в мысли, даже в те, которые ты и сам думаешь не чаще раза в год, да и то на нетрезвую голову; когда в серой мутной круговерти кто-то хрипло каркает тебе на голову; когда до ближайшей тарелки с горячим борщом и рюмки водки еще сто парсеков по снежным заносам и ледяному насту; когда сумерки выползают из оврага и ползут тебе навстречу, по пути проглатывая огромные куски лыжни, ведущей к дому; когда где-то далеко-далеко впереди, в соседней галактике, чуть желтеют два пятна двенадцатой звездной величины от фар еще вчера проехавшего трактора; когда через два километра вдруг оказывается, что этот свет и не от фар вовсе... вот тогда и может.

